

Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и некоренного происхождения: мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле, затем, нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо. Со временем мы и сами стали называть себя и подписываться Крузо; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхарт; брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что случилось со вторым моим братом — не знаю, как не знали отец и мать, что случилось со мной.

Так как в семье я был третьим сыном, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование, в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чём другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошёл против воли отца — более того, против его запретов — и пренебрёг уговорами и мольбами матери

и друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.

Отец мой, человек степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостерег меня серьёзно и основательно. Прикованный подагрой к постели, он позвал меня однажды утром в свою комнату и с жаром принялся увещевать. Какие другие причины, спросил он, кроме склонности к бродяжничеству, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и с приятностью? Отчизну покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь ещё большего; одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие — ради славы; но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны; мой удел — середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, а оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкий труд и страдания, выпадающие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют: ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рождённых для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями — ничтожеством и величием, и даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья.

Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким превратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества; даже от недугов, телесных и душевных, они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей, и все их недуги не что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей



и всех радостей бытия; мир и довольство — слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия — его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу — покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнём честолюбия. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия, не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днём постигая это всё яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и чрезвычайно ласково стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, а он приложит все

старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советует мне избрать; если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придётся пенять лишь на злой рок или на собственные оплошности. Итак, он предостерег меня от шага, который не принесёт мне ничего, кроме вреда, и, исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей гибели, поощряя к отъезду. В заключение он привёл в пример моего старшего брата, которого он так же настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все уговоры оказались напрасными: юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя, закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берётся утверждать, что, если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения Божия. Придёт время, когда я пожалею, что пренебрёг его советом, но тогда, может статься, некому будет прийти мне на выручку.

Я видел, как в конце этой речи (она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слёзы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моём убитом брате; а когда батюшка сказал, что придёт время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренне растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твёрдо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! Через несколько дней от моей решимости не осталось и следа: короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом я во избежание новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел её в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далёкие края, и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у меня всё равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил

писцом к стряпчему, то знаю наперёд — я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения, и ушёл в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие; ежели жизнь в море придётся мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более; и я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время.

Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чём моя польза, и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я ещё могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я твёрдо решил себя погубить, тут уж ничего не поделаешь, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не буду вправе сказать, что моя мать потакала мне, в то время как отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине, но, если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете. Нет, я не могу на это согласиться».

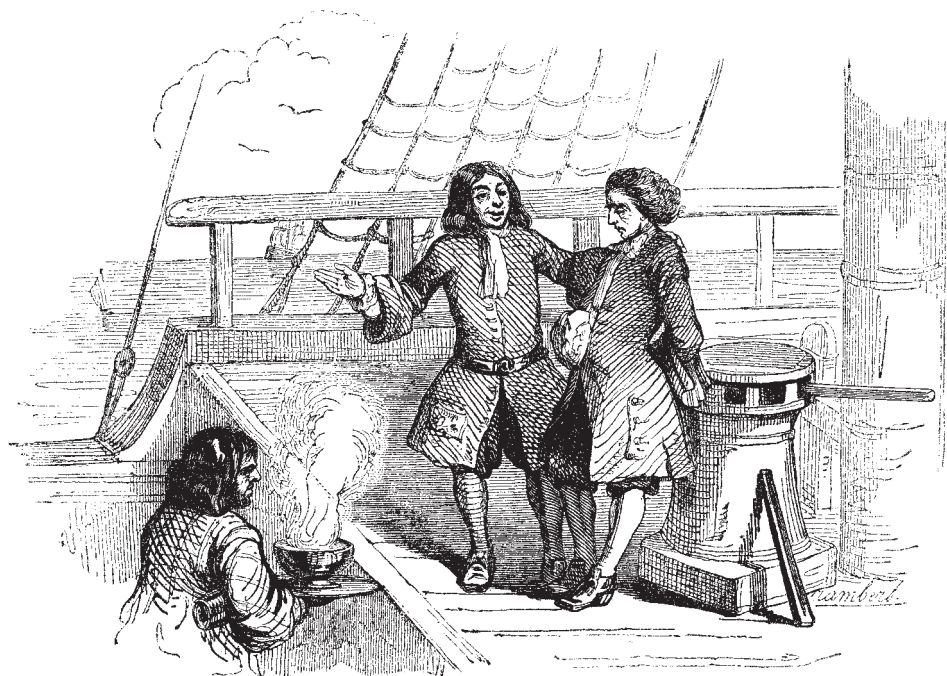
Прошёл без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находился в Гулле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, не уведомив их ни словом и предоставив им узнать об этом как придётся, не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчёт ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый — видит Бог! — час, 1 сентября 1651 года, я взошёл на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастья и беды молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Хамбера,

как подул ветер, вздымая огромные, страшные волны. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как содрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьёз задумался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слёзы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время ещё не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение обязанностей перед Богом и отцом.

Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что, если Господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твёрдую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше, — словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.

Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после неё; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьёзно (тем более что ещё не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда ещё не видывал.

Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое ещё вчера так бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное зрелище. И тут-то, словно для того, чтобы изменить моё благоразумное решение, ко мне подошёл приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался, — признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору, — мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты ещё совсем неопытный моряк, Боб. Пойдём-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуле той ночи всё моё раскаяние, все размышления о прошлом моём поведении и все мои благие



решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошёл страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли ещё пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и весёлой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл; в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на неё внимания. Однако меня ждало ещё одно испытание: как всегда в подобных случаях, провидение пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою; в самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать, что опасность была поистине велика и спаслись мы только чудом.

На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд. Ветер после шторма был всё время неблагоприятный и слабый, так что мы двигались еле-еле. В Ярмуте мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном, ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Ньюкасла, ибо Ярмутский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые ожидают здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу.

Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не покрепчал ещё больше. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас надёжные; поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности — по обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стеньги и плотно закрепить всё, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море началось большое волнение, корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз зачерпнул бортом, и раза



два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал от-
дать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против
ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и страх
были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам ка-
питан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи,
смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец», — что не мешало
ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые ми-
нуты переполоха оглушили меня: я неподвижно лежал в своей каюте рядом

со штурвалом и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу: мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдёт бесследно, как и первая. Но повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: на море вздымались валы вышиной с гору, и такая гора опрокидывалась на нас каждые три-четыре минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалёку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошёл ко дну. Ещё два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других — им было легче маневрировать; но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

В конце дня штурман и боцман стали упрашивать капитана позволить им срубить фок-мачту. Капитан долго упирался, но боцман принялся доказывать, что, если фок-мачту оставить, судно непременно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так шататься и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и её и таким образом освободить палубу.

Судите сами, что должен был испытывать всё это время я — юнец и новичок, незадолго перед тем испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда; во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению прийти с повинной к отцу и вернулся к прежним химерическим стремлениям, и мысли эти, усугублённые ужасом перед бурей, приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было ещё впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от тяжёлого груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Кренит! Дело — табак!» Пожа-

луй, для меня было даже к лучшему, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не попросил объяснить их. Однако буря бушевала всё яростнее, и я увидел — а это не часто увидишь, — как капитан, боцман и ещё несколько человек, более разумных, чем остальные, молились, ожидая, что корабль вот-вот пойдёт ко дну. В довершение ко всему вдруг среди ночи один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, всё ли там в порядке, закричал, что судно дало течь; другой посланный донёс, что вода поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Все к насосам!» Когда я услышал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где я сидел. Но матросы растолкали меня, заявив, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошёл к насосу и усердно принялся качать. В это время несколько мелких судов, грузённых углем, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря



и вышли в море. Когда они проходили мимо, наш капитан приказал подать сигнал бедствия, то есть выстрелить из пушки. Не понимая, что это значит, я пришёл в ужас, вообразив, что судно наше разбилось или случилось нечто другое, не менее страшное, и потрясение было так сильно, что я упал в обморок. Но в такую минуту каждому было впору заботиться лишь о спасении собственной жизни, и никто на меня не обратил внимания и не поинтересовался, что приключилось со мной. Другой матрос, оттолкнув меня ногой, стал к насосу на моё место в полной уверенности, что я уже мёртв; прошло немало времени, пока я очнулся.

Работа шла полным ходом, но вода в трюме поднималась всё выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако нечего было и надеяться, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдём в гавань, и капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец одно лёгкое судёнышко, стоявшее впереди нас, отважилось спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Подвергаясь немалой опасности, шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли добраться до неё, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наконец наши матросы бросили им с кормы канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих и тщетных усилий гребцам удалось поймать конец каната; мы притянули их под корму и все до одного спустились в шлюпку. О том, чтобы добраться до их судна, нечего было и думать; поэтому мы единодушно решили грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что в случае, если лодка разобьётся о берег, он заплатит за неё хозяину. И вот, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Уинтертон-Несса, постепенно приближаясь к земле.

Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут-то впервые я понял, что значит «дело — табак». Должен, однако, сознаться, что, услышав крики матросов: «Корабль тонет!» — я почти не имел силы взглянуть на него, ибо с тех пор, как я пошёл, или, вернее, когда меня сняли в лодку, во мне словно всё оцепенело от смятения и страха, а также от мысли о том, что ещё ждёт меня впереди.



...мы направились к северу в сторону Уинтертон-Несса, постепенно приближаясь к земле

Покуда люди изо всех сил налегали на весла, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть (ибо всякий раз, как лодку вздымало волной, нам виден был берег), что там собралась большая толпа: все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдём ближе. Но мы двигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя уинтертонский маяк, там, где между Уинтертоном и Кромером береговая линия изгибается к западу и где поэтому её выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но всё-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут, где нас, как потерпевших крушение, встретили с большим участием: городской магистрат отвёл нам хорошие помещения, а местные купцы и судохозяева снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы добраться по нашему выбору либо до Лондона, либо до Гулля.

Почему мне не пришло тогда в голову вернуться в Гулль, в родительский дом! Как бы я был счастлив! Наверно, отец, как в евангельской притче, заколол бы для меня откормленного тельца; но он узнал о моём спасении лишь много времени спустя после того, как до него дошла весть, что судно, на котором я вышел из Гулля, погибло на Ярмутском рейде.

Но моя злая судьба толкала меня всё на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться; и хотя в моей душе неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и не стану настаивать, что какое-то тайное веление всесильного рока побуждает нас быть орудием собственной своей гибели, даже когда мы видим её перед собой и бросаемся к ней навстречу с открытыми глазами, но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в пагубном решении, присмирел теперь больше меня; в первый раз, как он заговорил со мной в Ярмуте (что случилось только через два или три дня, так как в этом городе мы все жили порознь), я заметил, что тон его изменился. С унылым видом он покачал головой и спросил, как я себя чувствую.